

\*\*\*

Не обуздать страстей природу —  
Распад азартен, как разврат...  
Народы рвутся на свободу,  
А люди вместе жить хотят.

И, презирая боль и слезы,  
Впадая в алчный нетерпеж,  
Страну живую без наркоза  
Кромсает пограничный нож.

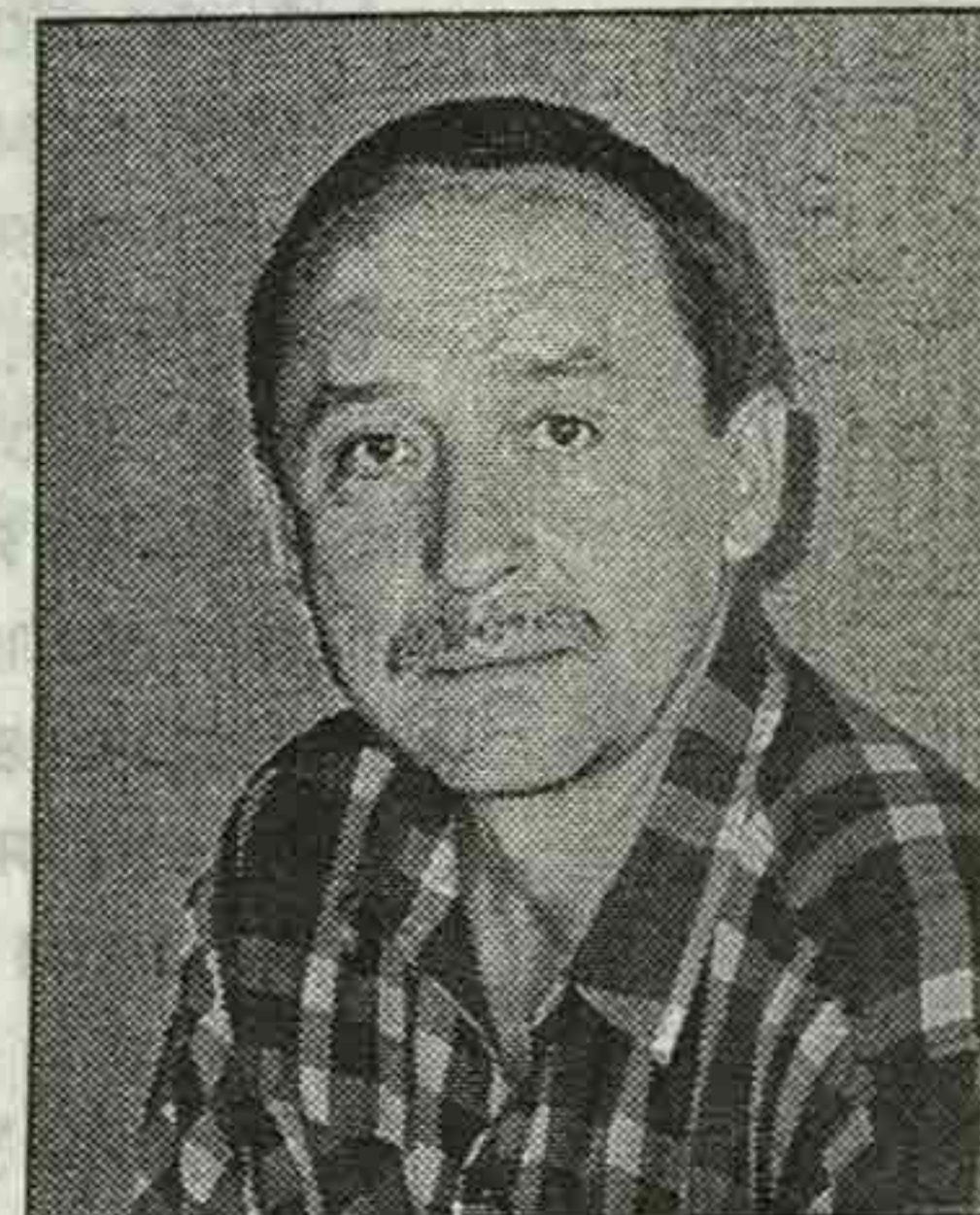
Корить народы непристойно  
За самостийный выбор их —  
Они и впрямь, увы, достойны  
Строптивых лидеров своих.

И, разрывая братства узы,  
Свободу славил бы и я,  
Когда б в развалинах Союза —  
Не жизнь, не Родина моя.

1992

## Леонид Симачев

Леонид Симачев родился в 1950 году в городе Сковородино. Окончил мореходное училище в Находке, работал начальником радиостанции на китобойном судне. В декабре 1975 года вернулся с морей в Сковородино, где живет и сейчас. Работает на радиорелейной станции. В 1991 году был принят в Союз писателей СССР. Печатался во многих областных, региональных и центральных газетах, альманахах, журналах. В советское еще время вышли три книжки рассказов — «Срочная радиограмма» (Хабаровск, 1984), «Ленинградский коверкот» (Москва, «Молодая гвардия», 1986) и «В перерыве между таймами» (Хабаровск, 1989). И вот в нынешнем году увидела свет его новая книга — «До коммунизма и после» (Благовещенск, Издательская компания «РИО» — Издательство «Зея») — за что амурские литераторы, его друзья, выражают искреннюю признательность спонсору — Сковородинской районной администрации.



Рассказ

## ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ЯГОДЫ

Она сидела на закорках у сына, полуобхватив его за шею, и боялась, что скрюченные кисти некогда крепких рук, которыми она вцепилась в лямки рюкзака, перевешенного сыном на грудь и в котором глухо, как селезенка у лошади, екала при каждом шаге пара капроновых ведер, вставленных одно в другое, внезапно разожмутся, и ей хотелось от бессилия заплакать. Из-за капюшона штормовки, надвинутого до самого подбородка, чтобы ветви не исхлестали ее исхудавшего лица, она не видела, что сын уже перебрался через сыротравянистую, густо заросшую ольховником широкую пойму ключа Россыпного и медленно поднимался по донельзя выгоревшему увалу, подыскивая среди головешной черноты зеленое пятнышко для привала.

Наконец он остановился у груды валунов, не так зачумленных сажей, выбрал мшисто-лишаистую выемку среди них и, бережно сползая по прохладной шероховатости камня, усадил в нее мать, мягко высвободил из ее онемевших пальцев лямки рюкзака и с наслаждением разогнулся в полный рост.

Когда она, с усилием подняв задеревеневшие руки, скинула с лица капюшон, то невольно ойкнула от иссиня-сизой худобы горельника, длинно тянувшегося перед ней под паутинно-росистыми лучами осеннего солнца, только-только начавшего свой дневной путь. Сын же, освободившись от рюкзака, упал на руки промеж валунов и по-звериному приник губами к небольшой ямке с едва пульсирующей со дна ледяной водой. Он сосал долго и бесшумно собственное отражение, а потом осторожно, чтобы не намутить, отклеился с легким чмоком и, не вытирая губ, встал на колени, достал из рюкзака кружку, зачерпнул и, круто развернувшись, протянул ей воду.

— Когда горело-то? — сипло, не то от воды, не то от долгого молчания, спросила она.

— Весной.

Этой весной и она окончательно свалилась. Все ждала тепла, думала — полегчает. С этой мыслью и какой-то тайною надеждой прикупила цыплят, полагая, что забота о чужой жизни пересилит слабость и недомогание, поможет перебороть собственные болячки. Но с наступлением тепла ста-

ло еще хуже: пропал аппетит; жгуче-желчная рвота по ночам, и странная легкость в слабеющем теле после этого, когда кажется, что сможешь вот сейчас что-то сделать, но сил хватает только на несколько шагов, чтобы вынести тазик, попить воды и умыться.

Июль она кое-как перековыляла — эти знойные, солнцем и гарью одурманенные дни и душные липкие ночи. С августовской прохладой наступило небольшое послабление, она задвигалась по хозяйству и поняла — осень еще протянет. А Господь приберет ее в январе. Эти два месяца в году, когда Земля начинала поворачиваться ближе к Солнцу то одной макушкой, то другой, она почему-то не любила еще с лагерных времен. Очевидно, из-за зыбкости пограничного состояния, и вообще — из-за какой-то явной ненадежности всей жизни, которая так и прошла: то в ожидании самого худшего, что только может выпасть на долю человеческую, то в ожидании явно несбыточного сказочного завтра, когда понимаешь, что этого «завтра» не будет никогда, потому что никогда не будет.

Вот и в тот январь, полвека назад, они лесоповалили по склону этого хребта, пурхаясь по пояс в сыпучем, закристаллизовавшемся от лютой стужи снегу. Чем круче склон хребта, тем легче было трелевать поваленные лесины вниз, к ключу, по берегам которого их и штабелевали. А вывозили ближе к весне: по наледям, по все более и более расширяющемуся руслу ключа, в долину, к «железке», где у наспех срубленной из тех же бревен эстакады попыхивал в ожидании погрузки старенький «компаш», приземистый и чумазый, с длиннющей кроваво-красной трубой, впряженный в пару-тройку разбитых вдрызг полувагонов; но вывозкой занимались уже другие бригады — из расконвоированных и местных жителей, с «лестрансхозовскими» лошадьми.

— И как тебя звать-величать, молодка? — глядя, как она неумело тюкает топором по только что сваленной лиственнице, подошла к ней худющая, но все равно красивая еврейка.

— Мария...

— А меня Магдалина Давидовна. Дай-ка топор! По такому морозу сучья не рубят, а сбивают обухом. И бьют не про-



тив, а по ходу, по росту этих распроклятых деревьев! Смотри... — Топор прилип к ее жилистым рукам. — Бух... Бух... Бух... — без звона, глухо застучала она по сучьям, методично оголяя лесину для трелевки. — Откуда будешь?

— Из-под Барабинска... У нас там степи, — виновато добавила она.

— Казачка?..

— Да как сказать... — Она замялась.

— Ладно... За что хоть сюда-то пригнали?

— За мужа.

— Он что — партийный работник? — в такт ударам, с придыхом, расспрашивала та.

— Нет, что вы... Простой конюх на хлебозаводе... Был конюхом, — поправилась она, даже не зная: где он сейчас и жив ли. — А взяли его по полста восьмой, за агитацию...

— По-о-онятно, — протянула еврейка, бросив топор. — Завтра перед разводом найдешь меня. Попробую взять к себе в бригаду.

Почему именно ее среди многих других «зекачек» нового этапа заприметила Магда, она и сейчас не знала. Может, услышала, что в пересылке у Марии случился «выкидыш», а Магда была врач-гинеколог, а может, из-за молодости и совершенной неопытности Марии, которой не было тогда и двадцати. Про Магду же болтали разное: и «отравительница», и на подпольных абортах погорела, и Кагановичу родственница, и вообще — «жидовские дела»...

...Промерзшая зимняя лиственница пилится гораздо легче, чем летом. А если пила наточена, развод тютелька в тютельку, движенья слаженные: туда-сюда... туда-сюда... Запил сделали верно, и упасть она должна вершиной под сопку. Мерзлые опилки вместе с полотном пилы — туда-сюда... туда-сюда... — ложатся ровненько к ногам вокруг обтопанного комля, словно свежераздробленные мозги с кровяными прожилками от коры. И вот — берегись! — трещит, трещит и рушится, как и хотелось... Быстро вдоль ствола к верхушке пробежались сучкорубы. Вот просунули под бревном на удавку заледенело-засаленные бурлацкие петли, впившиеся в плечи, и вчетвером: раз! и раз!.. Главное — сорвать с места и по снежку, по снежку... «Улю-лю-лю!..» Это уже вертухаи подгоняют, переминаясь у костра в скрипучих серых нерастоптанных валенках... Да каркают над головой всеведущие вороны, кружась и паря в мутной выси.

Брусника в этом году уродилась, и набрать ее можно было и у поселка, не забираясь в такую глушь. Ей стоило больших трудов уговорить сына завезти ее именно сюда и сегодня; рано утром, под ворчание невестки, он наконец выгнал из гаража старенькую «Ниву».

Утренняя роса подсохла, солнышко пригревало, едко пахло уже сгнившими грибами, которые во множестве, с черными, прибитыми ночным морозцем оплывшими шляпами, кособочились то там, то сям. Сын ушел искать приемлемую для сбора ягоду, а она ползала на коленках по поляне, машинально пощипывая редкие кисти брусники, и думала о своем.

В последующей, послелагерной жизни у нее было две тайны. Одну, о том, как на долгом этапе из Омска до БАМлага, ее, молодую, ядреную девку, не жившую с мужем и года, увозили из вагонзак к себе конвойные и пьяно, по-скотски, насилывали, — она уже не расскажет никому. Пожалуй, рассказала бы мужу. Но, как ей передали много лет спустя, он в это время умирал от пеллагры в лагере под Сусуманом. С тех пор она с большим трудом ездит в поездах, а если жизненная необходимость и заставляет делать поездки, то по ночам, под этот монотонный стук колес, под налетающий шум встречных составов, под пересверкивание огней мимо пролетающих станций, ее мучительно душат кошмары, и она в вагоне практически не спит, ворочаясь на полке полусидя, полулежа в ожидании утра.

В лесу вскрикнула сойка, застрекотала тревожно; немного позже затрещали кусты. Это выходил снизу сын, бережно

неся в одной руке ведро с брусникой, уже прикрытое сверху чистой тряпицей, а другой отводя от лица хлесткие ветки кустарника.

— Нашел «пяточок» с хорошей ягодой, — сказал он, поставив ведро. — Тут недалеко... Может, помочь тебе?... Доковыляем, где поднесу... Еще ведро-два набрать можно, — вопросительно добавил он.

— Нет, Илья... Я здесь побуду, сходи с моим, — и она протянула ему ведро.

Пней по этому южному склону было много, но они все заросли чащобником, и она натыкалась на них случайно. Одни сгнили напрочь, каким-то чудом сохраняя свой трухлявый остов, разрушавшийся при первом же прикосновении; другие, вовремя ошкуренные либо медведем в поисках муравьев, либо дятлами и клестами в поисках личинок, высушались на ветрах и солнце, становясь все более белесыми и седыми и затвердевшими снаружи, как кость. Лишь отторгнутые почвой, вылезшие из-под хвои и листьев, узловато-скрученные и такие же сухие корни да гнилое нутро, куда любят заглядывать юркие колонки и гоняющий их соболишка, говорили — и они не вечны. К такому пню она и присела, прислонилась спиной к теплему дереву, пригрелась и поняла, что не найдет того, что ищет.

Любые вырубki губят лес в этих краях. На месте вековых деревьев через два-три десятка лет вырастает плотной стеной ольха, мелкий осинник, березовый ерник, по земле расползается плотным пахучим ковром свиной багульник. Ходить по такому лесу — сущее наказание. В народе такие вырубki прозывают чащобником, и ей ли, всю жизнь промантулившей в леспромхозе, этого было не знать? Нет, думала: на месте сердце подскажет...

Приоткрыла прищуренные на солнцепеке веки и увидела в синем сентябрьском небе распушенные белые перья от инверсионного следа самолета, летевшего на северо-запад. Она задрала голову, потом повернулась боком, припав на ладонь, и увидела сам самолет, уже таявший на исходе горизонта. «Видно, и на уши слаба стала, — подумала она. — Или ветерок все глушит. Но вон две березы скрипят, шоркаясь на ветру друг о дружку. Слышу же...» И она заплакала, поняв, что видит все это в последний раз, и жизнь надсадно пролетела, как этот истаявший в небе и уже наверняка кем-то приватизированный серебристый самолет.

Поплакав, она вытерла насухо глаза, поднялась и заковыляла к табору, боясь, что сын уже кличет.

Она искала место гибели Магды и не нашла. Хотела найти тот пенек, окропленный ее кровью, тот клочок таежной каменной земли, где росла эта судьбинная для Магды лиственница, — и не смогла. Хотела показать это место сыну и объяснить перед смертью, что вот здесь поклялась разыскать его, найти и поднять на ноги, и чего это все ей стоило, и почему не открылась раньше...

Как в пятьдесят четвертом, когда закончился ее пятилетний срок, осталась здесь на поселении, с каким трудом нашла работу, как в пятьдесят пятом, насобирав деньжат, выехала первый раз в Иркутск, ибо Магда сказала: «Запомни: детприемник бывшего НКВД в Иркутске, Нейман Илья Аронович...» Как ходила по различным конторам и присутственным местам, в которых восседали такие же сытые мужики, в таких же френчах и кителях, только без погон, что и пять-шесть лет назад тому, когда ее водили на допросы. Что в детдомах и детприемниках верховодили такие же молочно-розовые тетки, иногда в очках, иногда с «беломориной» в зубах, как и шмонавшие ее по поводу и без повода в перерывах между допросами. А сколько бумаг пришлось разных насобирать, чтобы спустя три года, летом пятьдесят седьмого, увидеть его впервые в казенной одежде, под другой фамилией, с неродным отчеством и с детдомовской взывающей грустью в крупных черных глазах...

— Мамо-оу! — донеслось до нее.

— Иду! Иду! — зачастила она, опираясь на подобранную суковину.

Сын приказал сидеть и ждать, пока отнесет ягоду в машину, но она ослушалась и потихонечку спускалась в ключ, ему навстречу. Дошкандыбала до горельника, который скрипел и трещал под усиливавшимся ветром, роняя отсохшие сучья.



«Раньше таких пожаров не было. А теперь горит каждый год, и по всей стране, по всей стране...»

Увидела сына, который в болотниках устало брел по воде, пересекая ключ наискосок, пожалела, что и он прожил жизнь не ахти какую, проишачил большую часть на лесовозе, разменял шестой десяток и остался без работы на старости лет — лесопункт закрыли. Рано начал лысеть — служил на подподке, потому и женился, наверное, поздно: кто ж за лысого пойдет. Поздние дети... Один внук еще в школу ходит, а другой в армии. Кстати, как он там, надо спросить... И сейчас в машине, на обратном пути, она ему все расскажет. Будь что будет... Проклянет за испорченную жизнь — так проклянет! Промолчит — и на том спасибо.

Под гору мать нести было легче, да и рюкзак с ведрами не мешал. Он знал, что у матери рак и протянет она месяца два, может, три от силы. Так сказали в областной больнице, куда возил он ее в августе. Вот только из дома своего она ни в какую к нему перебраться не хочет, а нужен присмотр. Он подумал о жене, как там одна управилась со скотиной, и о том, что будет опять ворчать вечером, что зря сжег бензин, лучше бы съездил в райцентр, поговорил с военкомом. Чет-

вертый месяц нет весточки от Васьки, последняя была из Моздока. Ну уж второго — вы хрен заполучите! А еще — он не знал, как сказать матери о том, что он знает, что никакой он не Ковалев Илья Васильевич, а Нейман Илья Аронович. Получил он письмо из Израиля лет пятнадцать еще, и тамошние родственники его хотели бы увидеть. Присылают письма и вызов каждый год и просят поактивнее им отвечать. А может, махнуть к ним?... И примут ли там всех?... Какая, хрен, разница: там воюют, здесь воюют... Только вот про Ваську бабке пока ничего не надо говорить.

Уже смеркалось, когда они выбрались на заросший ус, где оставили машину. Усами в этих местах называют тупиковые съезды с основной лесовозной дороги. На небе появились первые звезды. С увала, на котором они были совсем недавно, послышался отдаленный рев. У изюбрей начинался гон.

Он усадил в кабину мать, проверил, хорошо ли закреплены ведра с ягодой, и посетовал, что зря не взял ружье, — а вдруг что встретится? Аккуратно, в несколько приемов, развернул машину на узком усу и посигналил на прощанье. «Когда еще здесь будем...» — пояснил удивленной матери и медленно тронулся. Колдобины и рытвины запорошило хвоей и листьями, ехать нужно было осторожно, и он включил дальний свет.

## Владимир Гузий

Владимир Гузий из той породы людей, которые берутся за дело основательно и крепко. Приехав в Тынду в составе строительного отряда «Волгоградский комсомолец» в 1975 году, он влюбился в Дальневосточную землю. И она тоже ответила ему любовью. Да! Иначе не стал бы юный монтер-электрик известным не только на БАМе, но и в СССР поэтом. А еще он прозаик и художник, газетчик и тележурналист. Прошел пешком всю трассу «стройки века», взбирался на вершины Кодара, сплавлялся по горным порожистым рекам. Впрочем, прочитайте его стихи, и вы поймете сами, почему он стал в итоге почетным гражданином города Тынды.



\*\*\*

Я ручей перепрыгнул и замер — там, где шел полминуты назад, в зыбком мареве перед глазами над поляной висел синий град.

Не гремело вокруг, не сверкало, небо было протяжно-светло, — просто облако плавать устало и на мягкие мхи прилегло.

И в застывшее это мгновенье, сам себя сознавая едва, я случайно увидел строенье неизвестного мне существа.

Миллиард дымно-сизых молекул не срывался с зеленых орбит и, в отличие от человека, был спокоен, означен, открыт.

Так паслись облака голубики. Здесь в июле всегда хорошо...

Где-то рядом послышались крики, — видно, кто-то за ягодой шел.

## В НИЗОВЬЯХ ВЕРХНЕЙ АНГАРЫ

Мы пробираемся по старицам, протокам, заводям, озерам. И это устье, это таинство здесь почему-то кличут сором.

Да, есть и топи непролазные, коряги, гнус, осоки лезвия. Но можно видеть все по-разному: кому-то — сор, кому — поэзия.

Ведь над долиною бурлящею сверкают гранями хребты, без всяких слов, по-настоящему являя облик красоты.

По островам синеют ирисы, кипрей в малиновом кипении. Попробуй словом вровень вырази воды, цветов и гор сплетение.

Но вдруг — сквозь долгие блуждания, шальные мысли, чувств развал — увидишь глубь, простор, сияние и только выдохнешь: Байкал!..